



уббота, о которой тосковал еще в прошлое воскресенье, подкралась, как забытый день рождения. Раз, и вот он, нечаянный подарочек — священный конец бесконечной трудовой недели.

Но правильно сказано в Писании, что первые враги человека — домашние его.

Вот враги эти в пятницу к вечеру и занервничали, и задергались, и даже засиховали несколько, поняв неотвратимо, что все... Уйдет он в субботу, уйдет на рассвете, уйдет и не постыдится.

В отместку стали возводить ему всяческие мелкие козни.

Так совершенно неожиданно запропались куда-то старые, еще армейские, но весьма удобные на ноге сапоги. Исчез и многожды штопанный свитер грубой вязки. Уловив эти закономерности, Владимир, отталкиваясь от обычного образа мышления жены, быстро все просчитал и вскоре отыскал сапоги за полуоткрытой дверцей курятника, а свитер добыл из-под старого пальто, висевшего на гвозде в чулане.

Сложил это имущество посередине зала, добавил древнюю любимую рубашку, шерстяные носки и зеленую фуражку пограничника.

Сверху же демонстративно водрузил ружье.

Ужинали хмуро.

Теща плюхнула перед ним тарелку с борщом, потом вытянула руки по швам, возвела очи к потолку, и заголосила дурным голосом:

— Вон люди добрые уже все свеклой огрузились, одни мы ни с чем остались!

Что означало: некие мифические люди, а точнее, все поголовное население округа, а может быть, — даже страшно сказать — и всей Федерации, уже давным-давно наворовало вдоволь с бескрайних колхозных полей свеклы на корм скотине, а вот их святое несчастное семейство, как всегда, осталось навеки обездоленным, потому как этот изверг, мучитель и лодырь Володька опять собрался на свою проклятую охоту.

Небольшой, но хорошо отработанный домашний спектакль стал дальше разыгрывать тесть Прожора Иванович. Кося в сторону заплывшие глазки, то есть изображая великое смущение от своей просьбы, он протянул жалобно:

— Яблоньки бы окопать...

Ах ты, хрыч жирный. Как баб щупать — одышка не мешает, а как чуть что, то сразу: я-я-яблоньки...

В глазах Володьки уже поплясывает голубое, веселое, но непреклонное бешенство. Да и длань левой руки так и тянет рубануть по локтевому сгибу правой, чтобы вместе радостно взметнуться в яростном, почти пионерском приветствии:

— А вот хрен вам всем!

Но тут жена наконец-то сообразила, что над ее личной собственностью, обычно во всем, хотя и туго, но послушной (эх, в примаках Володька, в примаках!) — уж слишком многие раскомандовались, и она прикрикнула ревниво:

— А ну хватит! А то ишь — напали на козлика серые волки!

Козлик еще кое-как улыбнулся, серый же волк молча утонул в своей тарелке, а серая волчица вообще ушла из-за стола.

...Внутреннее холодное сияние вскинутых стволов ружья, которое он время от времени с некоторой почтительностью брал в руки и преломлял, успокаивало душу, помогая сносить бесконечный, туго натянутый вечер. Правда, Володька даже и не замечал, что из ружья он целится почему-то только в дверь тещиной с тестем комнаты.

Неотступным взглядом через низкое окошко позвал на крыльцо рассвет, подсиненный, как белье. Так в детстве старинный друг вызывал из дому длинным переливчатым свистом по какому-нибудь срочному делу.

Легким чувством вины осталось в памяти лицо жены, не распустившееся в глубоком сне и не, как обычно, глуповато-доброе, а, наоборот, стянутое укоризненно-целевым выражением, оставшимся еще с вечера: эх, чем по своим охотам зря шлындать, лучше бы мне стирать помог...

Но тугой воротник недавно выстиранного свитера гордо приподнял голову, ловкая одежда вернула армейскую уверенность в себе, а плечо приятно оттянула приятная мужская тяжесть — тяжесть ружья.

Так начался рассеянный день пожилой осени — день спрятанного солнца.

Еще совсем недавно в обычных скверах, парках, в пригородных пустых лесах творился тревожный праздник золотого листопада. Жаль только, что на самых глухих полянах, в самых дальних углах лесополос угас-

ли тихие полотнища щемящей красоты, так и не почувствовав на себе ни единого повлажневшего взгляда.

Порывистой ноябрьской ночью этот праздник кротко уронил свои полномочия, покинул величественный трон, и последний путь ему устлали опавшие листья.

И начались смутные дни безвременья.

Наступила та чересполосица жизни, когда то старушечий дождь пособачьи с утра заглядывает в окна, то вдруг ударит татаро-монгольский ветер, хлеща мокрыми плетями по согнутым деревьям, а то с какой-то неохотой, даже с видимым отвращением, пойдет неудачный снег, похожий на непрочный заменитель.

Короче, все металось и мучилось в тоскливом ожидании прочной диктатуры зимы.

Изредка-изредка под низким сумрачным небом утро рождалось без осязаемых мук.

Как, например, нынешнее.

И только Володька вступил под темный плотный полог низкорослого сосняка, что стоял неподалеку от его дома, как тут же немедленно началось тихое лесное воровство. Кто-то невидимый, но довольно ловкий и сильный стал неумолимо растаскивать его оскудевшую душу. Часть ее выплескивалась, как вода из ведра, когда он спотыкался о незаметно подставленные под ноги корни и пеньки, присыпанные бронзовой хвоей, часть ее ключьями оставалась стынуть на черных сучьях, что цеплялись за него, а большая часть просто растворилась в крепком лесном воздухе, настоящем как на спирту, на юном бесснежном морозце, на винном запахе палых листьев и на самых последних грибах, схваченных стеклянным ночным холодом.

В общем, вскоре Володька перестал замечать все — царапины, расстояния, дороги, тропинки, время, ход часов, цвет неба, леса, полей, ибо был он словно заключен в какой-то непроницаемый сосуд. Таким сделало его яростное вожделение удачного выстрела, что томило со вчерашнего вечера. Это желание сделало его ноги легкими, словно шутя перебирающими многие и многие километры, стерло в памяти буквально всю прошлую жизнь — короче, превратило его тело в некий хитроумный снаряд, управляемый только одним этим яростным чувством.

Как будто повисла на кончике ствола какая-то драгоценная капля, которая вот-вот должна сорваться, упасть, разбиться, и надо, балансируя, добежать, домчаться, дорваться и донести эту каплю, но вожделенный миг все оттягивался и оттягивался...

Желание жирной осенней добычи томило с рассвета и другое существо. Молодая лиса вышла на охоту в предутренних сумерках из глубоко заросшего оврага, где была ее нора. Несколько мышей, по оплошности попавшей ей на зубы, только сильнее разожгли это желание. Она как бы почувствовала, что неутомимый бег вознаградит ее или молодым зайчонком, или, что еще лучше, шустрой белкой. Ее рыжая мордочка с черной точкой холодного носа была похожа на аккуратное пламя наклоненной вниз спички с начавшей обгорать головкой. И лиса вынюхивала, словно освещала, все темные глухие уголки своей большой охотничьей территории.

Так с рассвета в толще стеклянного бессолнечного дня они интуитивно прокладывали замысловатые пунктиры своих следов. Двойной, легкий, что нигде не смял до конца сухой травинки, — лисы, и тяжелый, но такой же неутомимый — человека.

И уже к исходу короткого дня причудливая вязь обоих следов соединилась смертельной прямой ружейного выстрела.

Они увидели друг друга одновременно, и лиса коротко заметалась в овраге — так быстрым жестом курильщик гасит спичку...

Раскололся вдребезги сумрачный, как первый лед на темной воде, окружающий мир, и раскаленный свинец воткнулся в мягкую теплую преграду, остывая в еще горячей крови животного.

Замкнулось легкое движение курка, и погасло живое рыжее пламя в высоких холодных ладонях узкого оврага.

К рукам, вскинувшему ружье, только сейчас вернулось осознание, а вслед за ним — крупная собачья дрожь. Стало оглушающе тихо, и в округе самые громкие звуки оказались внутри человека — громыхало, тяжело ворочаясь, сердце, звенело в ушах.

Он подбежал и поднял тяжелое тело — есть добыча! И тут же посрамленные лица домашних стали выглядывать из-за его спины, любоваться убитой лисой и говорить друг другу: «Вот это Володька наш, вот это молодец, а мы-то... мы-то... да дураки мы, вот кто мы!»

Да, оглушающе радостно было лишь одному человеку. Лишь одному.

А все вокруг, вздрогнув от выстрела, стало опять сосредоточенно-молчаливым: низкое небо, белесая высохшая трава, сиротливый кустарник с оставшимися листьями.

Вот и сорвалась драгоценная капля, разбилась вдребезги, и пусто-пусто стало на душе.

Путь домой оказался ох каким нелегким. Прицепились к ногам добрых два десятка утренних километров, ружье давило плечо, а убитая лиса совсем не казалась маленькой.

А главное — потихоньку собиралась воедино разбросанная, потерянная, забытая в прозрачных рощах, в мрачном сосняке, в колючих закоулках оврага, потерянная душа человека. Возвращалась, обогащенная тихой красотой позднего ноября, который оцепенел, словно его коснулась тень вечности, под тяжелым снеговым небом.

Наверное, поэтому опадает древнее пьянящее чувство удачного поля, появляется усталость от радости, и родилось какое-то странное сожаление о себе, о лисе, которую приходится выносить мертвую из ее звериного бытия, о седой пашне, далекий край которой полностью слился с глухим небом, и горизонт грозит какой-то взезмой мыслью, которую объять и понять простой человеческий мозг не в силах...

Правда, когда приходилось поправлять сползающую с плеча лису, связанную за ноги, то появлялась на миг короткая радость. Эта же острая радость вспыхнула, когда домашние, приятно разочарованные, стали оценивать его добычу, но ненадолго — его уже отделила от своего трофея какая-то незримая стена...

На следующий день приятная боль в суставах ног, в икрах ног, мускулах бедер давала о себе знать, особенно когда окапывал яблони, а затем рубил дрова для бани. Снятая шкура лисы, обработанная и натянута на «правило», уже находилась на чердаке, и жена мучилась в сильнейших сомнениях — на воротник вроде маловато, а на шапку — жалко.

После полудня затеялся вдруг светлый ледяной дождь и затеялся, видимо, на сутки. Он накрыл теплый домашний мир холодным оконным колпаком, и мысли людей старались не переходить за теплую границу — уж очень там было неуютно.

Поздним вечером, после жаркой бани и сытного ужина с ха-а-рошим

стаканом самогона, настоящего на шиповнике и семи травах, Володька, вытягиваясь в прохладной, только что застеленной постели, почувствовал острый запах морозца и свежего ветра, запечатанный в тонкое полотно беля. Пронизанный этим запахом, он вспомнил сразу вчерашнюю свою охоту до мельчайших подробностей, которых вчера вроде бы не замечал.

А теперь увидел все в новом свете: озябшие мокрые поля, в которые сейчас уныло стучит дождь вперемежку со снегом, холодных сонных рыб, сбившихся в самых глубоких местах, нахохлившихся птиц и всяких других тварей, что едва отыскивали себе кое-какие сухие укрытия. По эдакой совершеннейшей непогоде обязательно застрял в чудовищной грязи какой-нибудь отчаянный неудачник-молоковоз, и тяжелый трактор, проламывая чернильную ночь сильными фарами, тащит его на буксире. Невидимый в темноте кабины тракторист обозначен нервным огоньком папиросы, а в свете фар на изломах ночи отчетливо заметны косые линии бесконечного дождя. Тяжел путь их, о Господи, по осенним хлябям, и это ежедневный труд их... Володька, недавно перешедший в электрики, испытал все это на собственной шкуре.

Соединив мысленно всех озябших — рыб, птиц, зверей, других тварей и человека, — Володька пожегился, с благодарностью ощутил толщину стен, крепость крыши дома, долгое тепло печи, и хотя человек он был от Бога далекий, искренне, с мольбой, попросил у того, кто был распростерт над собой пашней в низком небе и выражал какую-то огромную мысль, чтобы он дал немного тепла всем тем, кто застигнут в такую непогоду в пути.

Всем бездомным и сырим...

Именно в эту минуту, пронзая толстые каменные стены и темень огромной ночи внутренним взором, провел такую же прямую, соединившую самого себя и рыб, и птиц, и прочих тварей в пустых холодных полях, лесах, реках, еще один человек. В это мгновение далеко в большом городе закончил второе отделение знаменитый приезжий пианист с тяжелым крестьянским лицом, который играл излюбленные сонаты Бетховена. Размноженный миллионными экранами телевизоров, увековеченный в черных дисках грампластинок и в цветных открытках, он был отлакирован и вымуштрован всемирной славой. Кланяясь нарядной публике, он, опустошенный буквально до дна, глядел поверх голов и видел то же самое, что и Владимир, только вместо неудачника-молоковоза ему мерещился какой-то усталый путник или охотник... видимо, с молоковозами ему не приходилось сталкиваться. Замкнув на себе эту прямую, пианист, привычно кланяясь, подумал о своем нарядном одиночестве в этом городе, куда он приехал второй раз за двадцать лет — шума аплодисментов он почти не слышал. Опуская устало глаза долу, он вдруг наткнулся взглядом на первый ряд. А весь первый ряд был занят, наверное, учащимися музучилища — молоденькими девчонками в белых блузках и черных коротких-коротких юбочках. Их длинные смирные перламутровые колени были как клавиши чудеснейшего рояля, над которым горели, цвели обожанием девчоночьей глаза. От этих клавишей тянуло ощущением первого свежего незапятнанного снега, и, соединив все это той же прямой, пианист почувствовал, как высеклась искра какого-то нового ощущения, нового чувства, которое он попытался бережно запомнить — он знал, что оно потом ему понадобится, ведь сам он уже находился в возрасте ноября...